

Весь Радищев

Беседа о том, что есть сын Отечества

Не все рожденные в Отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). — Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. — Поудержись чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковыя изречения, доколе стоиши при праге. — Вступи и виждь! — Кому не известно, что имя сына Отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту, или другому безсловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшаго, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. — Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлеченным от божественных и естественных гражданским или общежительным. — Но в ком заглушены сии способности, сии человеческия чувствования, может ли украшаться величественным именем сына Отечества? — Он не человек, но что? он ниже

скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается разсуждение о тех злосчастнейших, коих коварство или насилие лишило сего величественнаго преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ни чего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться не лъзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равныя с лошадыю воздаяния, и претерпевая равныя удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума, и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другаго, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, в прочем обременены тяжестию своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои не что иное, как мертвыя тела, погребенныя одно против другаго; работают не обходимое для человека из

страха; им ни чего, кроме смерти не желательно, и коим наималейшее желание заказано, и самая маловажная предприятия казнятся; им позволено только расти, по том умирать; о коих не спрашивается, что они достойнаго человечества сделали? какая похвальная дела, следы прошедшей их жизни, оставили? какое добро, какую пользу принесло Государству сие великое число рук? — Не о сих здесь слово; они не суть члены Государства, они не человеки, когда суть не что иное, как движимыя Мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот! — Человек, человек потребен для ношения имени сына Отечества! — Но где он? где сей украшенный достойно сим величественным именем? — Не в объятиях ли неги и любострастия? — Необъятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? — Не зарытый ли в скверно-прибыточестве, зависти, зловождедении, вражде и раздоре со всеми даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют, и к одному и тому же устремляются? — или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пьянства? — Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все дома для безмысленнейшаго пустоглаголаня, для обольщения целомудрия, для заражения благодравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным

магазином, брови вместилищем сажи, щеки коробками белил и сурика, или лучше сказать живописною политрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его разпутная жизнь, знаменуемая смрадом из уст и всего тела его производящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний, словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки; — он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, не смотря на изтощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко, он щеголь. — Не сей ли есть сын Отечества? — или тот поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми, одному ему известными, средствами раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другия сим подобныя? — потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. — Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его

речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын Отечества? — Или тот простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целаго Отечества своего, а ежели бы можно было, и целаго света, и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последняя крохи, поддерживающия унылую и томную их жизнь, ограбить, разхитить их пылинки собственности; который возхищается радостью, ежели открывается ему случай к новому приобретению; пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последняго убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие не поколеблет его сердца; все сие для него не значит ничего; — он умножает свое имение, а сего и довольно. — И так не сему ли принадлежит имя сына Отечества? — Или не тот ли сидящий за исполненным произведением всех четырех стихий столом, коего услаждению вкуса и брюха жертвуют несколько человек, отъятых от служения Отечеству, дабы по пресыщении мог он быть перевален в постель, и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какия он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюстями своими? И так конечно сей, или

же который ни будь из вышесказанных четырех? (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдем). Смесь сих четырех везде видна, но еще не виден сын Отечества, ежели он не в числе сих! — Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человеков, не согласен наименовать вычисленных людей сынами Отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе, и приговорят исключить таковых из числа сынов Отечества; поелику нет человека, сколько бы он ни был порочен и ослеплен собою, чтобы сколько ни будь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.

Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя уничижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием, и не обретая ни где утешения своего. — Не доказывает ли сие, что он любит Честь, без которой он, как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сия есть истинная честь; ибо ложная, в место избавления, покоряет всему вышесказанному, и ни когда не успокоит сердца человеческого. — Всякому врождено чувство истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей,

пороков и предубеждений к тихому ея, чести то есть, свету. — Нет ни одного из смертных толико отверженнаго от Природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению Чести. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонскаго, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама Природа разположила уже род смертных так, что одна и притом гораздо большая часть оных должна не пременно быть в рабском состоянии, и следовательно не чувствовать, что есть Честь? а другая в господственном, по тому, что не многие имеют благородныя и величественныя чувствования. — Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие ни мало не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя, и следовательно к люблению истинной славы и Чести. Причиною тому или род провождаемой жизни, обстоятельства, или в коих быть принуждены, или мало-опытность, или насилие врагов праведнаго и законнаго возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству,

которое разум и сердце человеческое обезсиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечнаго. — Не оправдывайте себя здесь притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О ежелиб вы проникли цепь всея Природы, сколько вы можете, а можете много! то другия бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся Природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания, и при которых истинный Друг человечества содрогается. — Что бы такое представляла тогда Природа, кроме смеси не стройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? — По истине она лишилась бы величайшаго способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком раждается оная пламенная любовь к снисканию Чести и похвалы у других. — Сие происходит из врожденнаго человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувствование толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшаго Существа, свидетельствуемая

услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя. — И естли сие так, то кто сомневается, что сильная она любовь к Чести, и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других, есть величайшее и надежнейшее средство, без котораго человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? — Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои не избежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувствование, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? — Какое есть средство к избавлению от страха, пасть на веки под ужаснейшим бременем оных? ежели отъять во первых исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему Существо, не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а по том к подобным себе, с которыми соединила нас Природа, ради взаимной помощи, и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную, и, при всем заглушении сего внутренняго гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя. Кто посеял в человеке чувствование сие

искать прибежища? — Врожденное чувство зависимость ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что на конец побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами, и к заботе нравиться им? — По истинне не что иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратии своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства. — Разсматривающий деяния человеческия увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! — И се начало того побуждения к люблению Чести, которое посеяно в человеке, при начале сотворения его! се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостью при воззрении его, похвалами, восклицаниями. — Се предмет, к коему стремятся истинные человеки, и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек

и сын Отечества есть одно и то же; следовательно будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом Честолюбив.

Сим да начинает украшать он величественное наименование сына Отечества, Монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбить ближних; ибо единою любовью приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благоразумие и честность, не заботясь ни мало о воздаянии, почести, превозношении и славе, которая есть сопутница, или паче, тень, всегда следующая за Добродетелию, освещаемую не вечерним солнцем Правды; ибо те, которые гоняются за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются. Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. — Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоговением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкаго состояния в служении Отечеству; служа оному, он знает, что он содействует здравоносному обращению, так сказать, крови Государственного тела. — Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонавия, и тем отнять

у Отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою онаго; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовию к целости и спокойствию своих соотчичей; ни чего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; — не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, не утомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу Отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; естли же она нужна для Отечества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту, и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствование Соотечественников своих. Словом, он благоден! Вот другой верный знак сына Отечества! Третий же и, как кажется, последний отличительнейший знак сына Отечества, когда он благороден. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в Обществе разумом и

Добродетелию, и будучи воспламенен истинно мудрым любочестием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинувшись законам и блюстителям оных, придерживающим властям, как всего себя, так и все, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим Отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения Соотчичей и Государя своего, который есть Отец Народа, ни чего не щадя для блага Отечества. Тот есть прямо благороден, котораго сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени Отечества, и который не иначе чувствует при том воспоминании (которое в нем не престанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом Отечества предразсудкам, кои мечутся, яко блистательныя, в глаза его; всем жертвует для блага онаго: верховная его награда состоит в Добродетели, то есть, в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце, и которой в ея тишине и удовольствии ни что в свете уподобиться не может. Ибо истинное Благородство есть добродетельныя поступки, оживотворяемая истинною честью, которая не инде находится, как в непрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим Соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по

предписуемым законам Естества и Народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной Древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына Отечества!

Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякаго благомыслящаго сердца сии качества сына Отечества, и хотя всяк сроден иметь оныя: но немогут однакожь не быть не чисты, смешаны, темны, запутаны, без надлежащаго воспитания и просвещения Науками и Знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самыя вреднейшия побуждения и стремления, и наводняет целые Государства злочестиями, безпокойствами, раздорами и неустройством. Ибо тогда понятия человеческия бывают темны, сбивчивы и совсем химерическия. — По чему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутыя качества истиннаго человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви Отечества, к желанию подражать великим в том примерам такожь к любви к Наукам и Художествам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в Истории и Философии или

Любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса, возлюбил бы рассматривание Живописи великих Художников, Музыки, Изваяния, Архитектуры или Зодчества.

Весьма те ошибутся, которые почтут сие разсуждение тою Платоническою системою общественнаго воспитания, которой события ни когда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания, и на сих правилах основаннаго, введен Богомудрыми Монархами, и просвещенная Европа с изумлением видит успехи онаго, возходящие к предположенной цели исполинскими шагами!

**Памятник дактилохореическому
ВИТЯЗЮ,
или Драматикоповествовательные
беседы юноши с пестуном его,
описанные составом
нестихословных речи отрывками
из ироического пиимы славного
в ученом свете мужа NN поборником
его знаменитого творения**

**Предисловие, предуведомление,
предъизъяснение, пред... и все тому
подобное**

Для дополнения стихотворного отделения моей библиотеки, вивлиофики, книгохранилища, книгоамбара, я недавно купил «Тилемахиду»; развернул ее некогда (для отдохновения от чтения торжественных песней), перебирал я в ней листы, — и нашел, к удивлению моему, нашел в ней несколько стихов посредственных, множество великое стихов нестерпимо дурных... нашел — подивитесь теперь и вы — нашел стихи хорошие, но мало, очень мало. В сию минуту вошел ко мне знакомый мой N... Он держал в руках «Жизнь моего отца» сочинения Коцебу. Мысль сверкнула в

уме моем, и я предпринял, наподобие сказанной книги или несколько на нее похожее, начертать что-либо в честь впадшего в столь уничижительное презрение творца «Тилемахиды»; попросил я моего знакомого взять перо и писать то, что я ему сказывать буду, — а я, перебирая сначала листы сея тяжеловесныя пиимы, следующие произнес слова:

1. Вступление, «Тилемахида» на что-нибудь годится, ни на что не годится. 2. Дядька, буря, мельничная плотина, виноград в бочонке, поля, хрустальная лавка. 3. Сновидение, корабль на парусах, гора, хохолок, мышь, очи ясны, уста красны, се же, бурной и бурой, небесная планисфера, огненный змей, Никола Подкопай, наряды московские, алая телогрея, закусил язык, околица, Фалелеюшка, мой батюшка, овин, пророк Валаам. 4. Портрет Цымбалды, охота к женитьбе, сечь лозою, Дон-Кишот, страшная пещера, подземная держава, кузница, как дураков дразнят, грязь, группа, дрянь, Лукерья, Енкалад, провалились вставши, конец. 5. Время, силлогисм *in barbara*, комментарии, с маху, ирой пчелы, странствование, надворный советник, глава и голова, петух, брысь, Зевес, узел, черти, Овидий, стал в пень и аминь. 6. Заключение, или Апология «Тилемахиды» и шестистопов.

Вместив все сии слова в VI номеров, или отделений, повествованием, из «Тилемахиды»

извлеченным, дав всему некоторую связь и сделав несколько примечаний о шестистопных стихах российских, большим поэмам приличных, я составил следующую диссертацию, разыскание, разглагольствие, или... нечто, дрянь... или памятник. — Читатель! если ты раз хотя один улыбнешься, то цели моей я уже достиг.

1. Вступление

*«Тилемахида» на что-нибудь
годится, ни на что не годится.*

Разговор Б. и П.

Б. Предубеждение твое против творца «Тилемахиды» чрез меру велико. Если ты рассудишь, что вымысел сея книги не его, что он отвечать не должен ни за ненужное и к ироической песни неприличное, ни за места слабые или растянутые... то о нем должно судить разве как о человеке, полюбившем страстно Фенелонова Телемака, захотевшем одеть его в русской кафтан, но, будучи худой закройщик, он не умел ему дать модного вида и для прикрасы обвесил его колокольчиками.

П. Но его нелепые стихи, переставление речи столь странное, столь глупое, столь смешное. — Невозможно подумать, чтоб книга сия на иное что

годилася, как на завивальные бумажки или — на что пожелаешь.

Б. Согласен во всем том, что ты сказал, — да читал ли ты «Тилемахиду»?

П. Читал ли? Можно ли не ради смеха сделать такой вопрос? Или думаешь, что я хочу занемочь?

Б. Занемочь? Разве «Тилемахида» не может служить вместо сиденгамова жидкого лаудана?

П. Нет, конечно. Она ни на что не годна, ниже от бессонницы. Правда, многие российские творения (а паче стихи) могут служить вместо усыпительного зелья, но не «Тилемахида».

Б. Могу и в том согласен быть с тобою. Но ты не читал ее и для того воздержись от решительного приговора и сентенции ее не подписывай, ибо (так говорит какой-то славной писатель), что нет столь худого сочинения, в котором бы не нашлось чего-либо хорошего.

П. Что может быть в «Тилемахиде» хорошее? И тому я не верю, чтобы ты в самом деле противное моему имел о ней мнение.

Б. Я истинно думаю, что она не вовсе бесполезна, — а если можно убедить, что она годится на что-нибудь такое, что доставить может удовольствие, если творец «Тилемахиды» заставит тебя улыбнуться, то венец ему уже готов.

П. Верить не могу, чтобы возможность была заставить с «Тилемахидою» улыбаться. Зевать

заставишь, зевать до ушей.

Б. Зевать нас многие заставляют; но иная зевота бывает впору, кстати, иногда похожа быть может на улыбку, — но прочти следующее, потом станем опять говорить о «Тилемахиде».

2

Дядька, язык французский и чухонский, бирюльки, дичь, сказка, буря, роскошная жизнь, мельничная плотина, столпы и кумиры, виноград в бочонке, поля, хрустальная лавка, то есть лавка, где продают хрустальную посуду, зеленая постеля.

Летописи повествуют, что у Митрофана Простякова был меньший брат, не по росту, не по уму, но по рождению меньший, именем Фалелей; что матушка его, видя неудачу в воспитании большого своего сына, вместо няни Еремевны приставила к меньшему дядьку, которого назовем мы именем славнейшего из всех дядек — Цымбалдою; и что госпожа Простякова выгнала предварительно из дома своего всех учителей: Кутейкина для того, что он не знал гражданских писем и что Цымбалда сам мог Фалелея учить

грамоте; Цыфиркина для того, что нужды нет нималой тому в арифметике, кто умеет считать на счетах; Вральмана (выгнали даже Вральмана!) для того, что сыну ее был случай учиться с меньшим иждивением всем наукам и языкам иностранным, хотя не по-французски, но все равно, языку древнего финского народа у пастора лютеранской церкви, где крестьяне Простякова были прихожаны.

Зане ведать надлежит, что Простяковы, избавляясь опеки (под которую отданы были за лютость поступков своих с подчиненными их людьми властью правительства, о чем с «Недорослем» справиться можно), истребовали дозволения продать деревни и на вырученные за то деньги купили в Копорье мызу Наренгоф, где крестьян было половина русских, половина финнов, или чухонцев. Итак, известные лютым своим обхождением с крепостными своими в одном углу Российского пространного государства, жили как добрые люди в другом углу, и, сравнивая обряды новые, которым они учились у своих соседей, с обрядами тех мест, где они жили, они находили (по мнению своему), что они оглашены в жестокостях несправедливо.

Фалелей был избалован, но не столько, как его большой брат. В куклы уже играть перестал, боялся лозы и своей матушки, которой родительская любовь не отымала еще охоту в нем к учению, не

сделала его еще болваном совершенным, или, сказать точнее, не поставила его еще на стезе быть дураком или повесою. Цымбалда был дворовой человек г. Простякова, доставшийся ему по наследству. Он когда-то учился грамоте, не пил ни вина, ни водки... но лучшее в нем качество было его простодушие. Прежний его барин был также грамотей, имел несколько книг, которые читывал только в праздное время, занят будучи всегдашнею карточной игрою, но, незадолго перед своею смертию, все книги он проиграл, почитая за ненужное их взять с собою, oprичь двух томов «Тилемахиды», которую ни в какой цене разыгрывать не хотели, бояся, что принесет — к тому, кому она достанется, — в дом скуку несносную: столь велико было предубеждение к сему великому Творению. Итак, «Тилемахида» досталась Цымбалде. Он в доме Простяковых был доселе без должности (зане присмотр за певчими птицами и очищение их клеток важным именем должности нарицать нельзя, хотя и то правда, что рачение о чижах и щеглятах доставило ему звание Фалелеева дядьки); без должности Цымбалда, и в скуке почти, читал и перечитывал «Тилемахиду», выучил ее столь твердо наизусть, что если бы цензура строгость свою на нее простерла и чтение ее запретила, то он бы, как Кремуций Корд во время Тиверия-кесаря, сказать мог: «Запрети и

меня».

Цымбалда читать мог то только хорошо и твердо, что читывал много раз, что, затвердивши, мог читать без книги; писать не иначе мог он как по линейкам, не иначе как имея всегда пропись пред глазами. Будучи пожалован в дядьки и профессору к Фалелею, обязан будучи учить его чему-нибудь и не зная ничего, oprичь «Тилемахиды», он вознамерился преподавать наставления своему воспитаннику так, как то дельвали некоторые древние философы в Афинах, то есть преподавать учение в разговорах во время прогулки. Встретившись, таким образом, мыслию с Руссо и Базедовом, относительно изящности чувственного учения, он с новоманерным своим Эмилем ходил в ясные дни мая и июня гулять вдаль от дома, или когда ненастливая погода не позволяла им делать эмилеподобные представления по лесам, лугам и нивам, то комната их превращалась в «Филантропину», где недоставало только Вольке и Базедова с их начальною или стихийною книгою и нужных для нее картин, а то бы мыза Наренгоф столь же прославилась в Европе, как и заведенное в Германии училище сими славными педагогами.

Некогда в один осенний день дождливый Фалелей с дядькою не выходил из комнаты своей никуда, и, наскучив играть долго в бирюльки (как употреблять должно бирюльки при чувственном

воспитании, о том Цымбалда обещал издать в свет описание), Фалелей и Цымбалда легли спать ранее обыкновенного.

Полежав гораздо долго, повертевшись с боку на бок, Фалелей сказал:

— Дядька, а дядька!

Цымбалда. Что ты, батюшка, почивать не изволишь? Завтра, кажется, день будет сухой, и дождь перестал; мы утром встанем поранее и пойдем в рощу.

Фалелей. Не спится, дядька, как ты хочешь. Дичь такая в голову лезет — скажи, пожалуй, мне сказку. Няня Еремевна брата Митрофана всегда усыпляла сказками: какое-то финисно ясно перышко, Фомка, Тимоня, Бова... Дядька! ты ведь читать умеешь. Пожалуй, расскажи, я засну скорее.

Фалелей. Нет, дядька, в Москве вертепы носят деревянные. Помнишь, мы видели о святках? Куда как хорошо!..

Цымбалда. «Стены одеты младым виноградом, распускающим всюду гибкие свои отрасли...»

Фалелей. *(вскочив, сел на постели)* Дядька! попроси завтра у матушки винограда, я видел — привезли ей из Москвы целый бочонок; но мне она ныне не дает ничего, говоря: избалуешься так же, как Митрофан.

Цымбалда. *(продолжав)* «Животворны

Зефиры блюли от солнечна зноя нежну прохладу. Тихо журча, текли ручьи по полям цветоносным и представляли струи вод чистых, как кристалы».

Фалелей. Помнишь ли, дядька, как мы были в хрустальной лавке, но воды хрустальной я там не видел.

Цымбалда. *(с нетерпением)* Спи, Фалелей. *(Говорит поспешно.)* «Множество разных цветов распещряло зелены постели...»

Фалелей. Знаю, дядька, знаю: у матушки есть приданая штофная зеленая постель.

Цымбалда. Спи, или я перестану. *(Говорит очень скоро.)* «В рощу лучи солнца не могли проникнуть. Слышно было в ней пение птичек и шум быстра потока, который устремлял свой бег с верхов многопенисто и, по лугам пресмыкаяся, вдаль убегал».

Цымбалда, заметив, что Фалелей заснул, прервал речь свою. Правду сказать, он не знал, как взяться за рассказы, и для того связи в речах его мало было. Доволен тем, что усыпил Фалелея, он лег. Маковые пары, исторгшиеся из «Тилемахиды», скоро обременили его вежди, и он захрапел столь же звонко, как храпит стих Тредьяковского или... чей еще, то скажем в другое время.

*Сновидение, корабль на парусах,
гора, хохолок, мышь, очи ясны, уста
красны, се же, бурной и бурой,
небесная планисфера, огненной змей,
наряды московские, алая телогрея,
закусил язык, околица, Фалелеюшка,
мой батюшка, овин, пророк Валаам.*

Наутрие... Цымбалда, пробудившись, был смутен. Он видел сон, и сон его беспокоил. Лучшие в историях и сказках иронию смущались сновидениями, — жаль, что нет предо мною теперь всеобщей какой истории. Лежат на столе моем Расин, Шекеспир и пресловутая «Россияда». Из них возьмем примеры. У Расина, встревоженная виденным ею во сне образом юного Иоаза Афалия, смущенная чрез целый день, не может подкрепить духа своего доводами не верующего в чудодейания разума. «Ужель, — вещает она, — мне верить сновидению?» Но дух в ней трепещет. У Шекеспира злобной Ричард, убоясь сонная мечты, воспрянул от ложа своего. «Коня, коня!» — вещает. Ему зрится Ричмонд, и он предузнает свою кончину. В «Россияде»... Теперь довольно, а о сновидениях «Россияды» в другое время.

Цымбалда, смущенный духом от

сновидения...

Вопрос: Да что же он видел?

Ответ: Подожди немного: Фалелей еще спит — но вижу, что начинает шевелиться и потягиваться; надежда есть, что скоро проснуться изволит. Итак, подожди, ибо Цымбалда не для нас отверзает велеречивые свои уста, не для нас, но для Фалелея, дитяти в семнадцать лет. Ведомо всем да будет только то, что Цымбалда верил снам, почитал тех людей, которые сны толковать умели, и сам выучился немного определять их смысл и значение по печатному соннику. Дарование не малое! которое не иначе приобрести можно, как за двадцать алтын с гривною или же за целый рубль от Гл...ва или Со...ва, у коих в телячьих, златом и разными шарами испещренных ризах хранятся творения Ч..., «Лирическое (в целой том) послание» Н..., «Земледелие» Р..., «Поваренной словарь», «Стихотворения» К... (между которыми прекрасного перевода его «А — ы» печатать, видно, не дозволено), «Тилемахида», «Иерихон» К...ча и пр. и пр.

Фалелей. *(сперва потянулся, потом отверзая глаза)* Дядька! ты меня так напугал вчера бурей или тучей, что мне она и приснилась.

Цымбалда. Сон? Сон? сударь! — С нами крестная сила! и тебе, батюшка, грезилось?..

Фалелей. Дядька! что ты глаза так выпялил?

Я видел точно такую бурю во сне, как ты мне рассказывал.

Цымбалда. Не томи меня, дитяtko, расскажи поскорее...

Мы уже читателей наших предварили, что Фалелей не столь был болвановат, как брат его Митрофан; рассуждения его, конечно, не были остроумны, но он имел память. Сколько людей, известных нам, которые, выучив только наизусть «Помилуй мя, боже» или... что другое, не последними почитаются в свете. Итак, Фалелей, забрав в память несколько Тилемахидо-дядькиных выражений, начал сон свой рассказывать, как то следует ниже сего:

«Я сидел на хорошем корабле или судне...» — Дядька! что такое корабль или судно? Нет ли чего на них похожего у батюшки в амбаре?

Цымбалда. Корабль есть... корабль; он похож... сам на себя. А судно... продолжай, Фалелеюшка, когда будешь в Петербурге, то увидишь и корабли и суда. У нас и в песне про суда поют: «По той ли по матушке Камышенке-реке плывут, выплывают два суденышка».

Фалелей. «Ветр надувал парусы наши...»¹ — Дядька! а что ж такое парусы? Я знаю, у матушки девки носят парусинные юбки, у Тараса-кучера есть

¹ Тил., книга VI, стих 318 и след.

парусинный балахон; как он сядет на козлы, то ветер его развеивает... Вчера я видел, как ветер надувал юбку у Лукерьи. — Дядька! которой ей год? — Она такая хорошенькая! всегда со мной играет.

Цымбалда. *(про себя)* Как не верить снам!.. *(Громко.)* Что нам до Лукерьи. Рассказывай, что тебе во сне виделось.

Фалелей. «Гора уже нам хохолком малым являлась». — Дядька! какие на горах хохлы бывают? Я не видывал. У Митрофановых голубей есть хохлы, у Еремевниных куриц есть также хохлы; в Москве на головах у каретных лошадей хохлы ставят...

Цымбалда. Не хохолком изволь говорить, но холмиком... хер, он, — хо; люди, мыслете, иже, — лми, холми; како, он, — ко, холмико; мыслете, ер — мь, холмиком; а холмик — маленькая горка.

Фалелей. «Всякая мышь...» Дядька! сыщи, пожалуй, кошку, мыши у меня съели кусок миндального пирога, что матушка мне пожаловала.

Цымбалда. Не мышь, сударь, а мыс.

Фалелей. Дядька! я не знаю, что такое мыс, ну так: «Всякой мыс и все берега от очей исчезали» *(Фалелей, перервав речь свою, поет тихонько.)* «Очи ясны, уста красны, личико беленько». *(Помолчав немного.)* Се... се ж. Дядька! что такое «се»?

Цымбалда. *(важно)* Слово, есть — «се».

Фалелей. Знаю, дядька, се же. «Се вдруг бурой свистун омрачил синее небо». Как это, дядька, быть может бурой свистун? Семка-повар — свистун великой; а бурой — жеребец, что батюшка купил на ярмонке для завода.

Цымбалда. Не бурой, а бурной...

Фалелей. *(перерывая речь его поспешно)* Дядька! бывал ли кто на небе?.. Как туда ездят?

Цымбалда. Как туда ездят, не знаю (извините, если Цымбалда не припомнил о воздушных путешествиях, позабыл Икара, Монгольфьеров, Бланшарда и прочих или их не знал), но посмотри в календарь, там говорят о небе, как будто туда ездили.

Фалелей. И подлинно чудеса! Ты мне, дядька, рассказывал про ту картину, которая осталась в московском нашем доме после жильца.

Цымбалда. Помню, подписана «небесная планисфера», а что такое, не знаю. На ней были всякие звери, медведи, змеи...

Фалелей. Матушка иногда рассказывает, как змеи огненные летают по небу.

Цымбалда. А сон мы забыли?

Фалелей. Изволь: «Возмутилась морская вода; день переменялся в ночь — смерть предстала...» Видал я, дядька, смерть, сперва написанную, а после видел настоящую смерть у

того же московского жильца, который оставил картину. Ах, дядька, как она страшна! Одне ребра, ноги как спицы, руки висят, как плети, голова плешивая, глаза две дыры, нос также, рот страшнее всего, до самых ушей; зубы все наружи; батюшка и матушка так испугались, что матушку вынесли без памяти, а батюшка ушел, боялся, чтобы не съела. То-то страху было! Ну, за то жильца матушка сослала со двора на другой же день; теперь еще мороз по коже подирает. *(Задумался.)* Дядька! смерть отбила у меня память, и я сон забыл.

Цымбалда. Изволь вставать с постельки, пора покушать...

Сон не выходил из головы у дядьки. Ему приснилася Лукерья, которая отняла у него Фалелея и с ним исчезла. Цымбалда боялся, не берет ли его воспитанника охота жениться, как то бывало с Митрофаном, и для того он испытать захотел его. В таком намерении, позавтракав немного, повел его гулять вокруг деревни.

Фалелей. *(идучи)* Дядька! что ж ты молчишь? Расскажи что-нибудь.

Цымбалда. *(не спуская с него взоров)* «Мы приплыли на остров Кипр, посвященный богине Афродите».²

Фалелей. Дядька! как мы домой придем,

² Кн. IV, ст. 262 и сл.

сыщи мне в святцах, в которой день ей празднуют.

Цымбалда. *(не прерывая речи)* «Сшед на остров, почувствовали воздух тихий, вдыхающ нрав веселой и игривой. Поля были плодоносны, прекрасны, но везде впусе, столь все жители были трудам неприятели. Жены и девы, нарядно одетые, шли в ликах, Афродите хвалы воспевая. Шли в ее храм, посвящать ей свои сердца. На лице их красота, приятность, миловидность, но притворны они были; их старание, их мысли всегдашние были токмо о нарядах; заплетенные их космы по хребту распущенны; власы завитые возвышались рядами, переменные рясны в одеждах пестротою блестели цветов».

Фалелей. Ты что-то хорошо рассказываешь; а кто ж такие нарядные барыни?

Цымбалда. Нарядные все живут в Москве, а в деревне на крестьянках сарафаны, на дворовых телогреи.

Цымбалда заметил, что Фалелей против своего обыкновения речи его мало перерывал вопросами, глаза его сверкали, дыхание было скорое. Цымбалда хотя был не любомудр, но практическая философия свойственна может быть самому простому человеку; он видел в питомце своем необыкновенную перемену, ясно видел, что хотения начинали тревожить если не его душу, то по крайней мере чувства. Подумав немного, он стал

продолжать свое повествование:³

«На Евхарите одежда Артемиды-богини...»

Фалелей. Не Артемида, дядька, а Артемий.

Цымбалда. *(не возражая ничего)* «Одежды придавали ей приятности новы...»

Фалелей. *(прерывая)* Ах, дядька, в праздничный день нарядится в алую телогрею и на голову повяжет алой шелковый платок, то лучше всякой твоей богини.

Цымбалда закусил язык и умолк; Фалелей сколько ни просил его, чтобы он ему рассказал еще что-нибудь, но все бесплодно. Дядька сурово на него изредка поглядывал и молчал.

Между тем дошли они до ворот околицы. День был воскресный; деревенские девки в праздничных нарядах, стоя кучкою, пели песни.

Фалелей. Остановимся послушать песни, я знаю, что ты охотник до них, — иногда, слышал, поешь: «Горе мне, грешнику сущу».

Но дядька, не ответствуя ни слова, шел мимо. Ему предстоял другой удар, паче прежнего. Фалелей воззрился, как гончий выжлец, что в толпе девичьей была его любимая Лукерья, пустился к ней на всех парусах; обнял ее, хотел целовать; но девка, вырвавшись, побежала, прыгнула через забор; Фалелей за ней в угонку; дядька кричал ему

³ Книга VII, стих 360.

вслед: «Фалелеюшка, мой батюшка! (Старые его ноги бегать уже разучились.) Куда изволишь? Пстой!..» Но Фалелей летит на крыльях ветра; он и девка скрылись от его взоров; чрез малое время видит он их на задворье, на огороде, бегут стремительно, только слышно ему было, что Лукерья смеялась громко, видно, что часто оглядывалась на Фалелея. Уже он ее угоняет; дядька в восторге негодования воздымает руки свои горé...; как некогда лжепророк Валаам, видя спасшийся народ иудейский, воздел руки на небо, да проречет на него проклятие и он да гибнет, тако дядька стоял с простертыми вверх руками, и прещение или проклятие готово излететь из уст его. Он видит Фалелея, настигающа бегущую девку, — и се, он уж ее почти настиг; бегут по гумну и в вертеп, или в пещеру, тут в виде овина стоящую, скрылись. Тут дядька, новый Валаам, не в силах изрещи прещения, возопил гласом велиим: «Помогай бог!»

*Портрет Цымбалды, охота к
женитьбе, кузница, или вход в
подземное царство, как дураков
дразнят, смерть с косой, грязь,
группа, или мала куча, провалитесь
вставши, конец.*

Цымбалда наш был древен ⁴, имел главу, власов обнаженну, чело с морщинами; долгая даже за перси брада седая висела; стан его высок, величествен, цвет в лице свеж и румян, пронизательны очи; голос тих, слова просты, приятны; благоразумием зрел, будущее прозревал глубиною мудрости своей, знал людей и к чему они преклонны, снисходителен, весел; юность сама толико не имеет приятностей, как он в старых летах любил молодых *людей*.

Скоро возлюбил Фалелея, звал его чадом, а сей ему почасту говаривал: «Отче мой дражайший! Бог даровал мне тебя».⁵

Он открылся ему, не медля нимало, о склонности сердца. «Будешь бранить меня, — говорил Фалелей, — что склонностям я

⁴ Кн. II, ст. 338 и сл.

⁵ Кн. XXII, ст. 427.

подвергаюсь. Но непрестанно бы сердце меня укоряло, если б я от тебя утаил, что люблю Лукерью и не льщуся, что мысли наши сретались и сердце весть подало сердцу. Нет, страсть сия не слепая, имени ее не могу произнестъ, чтоб сердцем и духом глубоко не возмутиться. Время и отсутствие не загладят ее в памяти, ибо не пристрастна любовь моя. О, коль счастлив бы я был, провождая всю жизнь с нею! Ежели мне родители избрать жену попустят, то она супруга моя будет. Нравится мне в ней молчание, скромность, уединение и к трудам прилежность, радение о доме родителя, после как мать ее скончалась, презрение к суетным всем уборам и незнание красоты своей; счастлив тот человек, кто сопряжется с ней. Буду любить ее, доколе жив буду. Если другому она достанется, то пребуду всегда в горькой печали. Я не хочу говорить о моей любви ни ей самой, ни родителям моим, но тебе единому». Цымбалда дивился, откуда взялось красноречие Фалелеево, не хотел его огорчить, видя, что страсть его была столь уже сильна; но думал, что лучше сделает, если, не противореча ему, а паче потакая, он, делав ему препятствия другого рода и отдаляя о том объявлять отцу его и матери, он успеет, может быть, и отвратить намерение его жениться на Лушке. И для того, вместо угроз или упреков, он начал хвалить Лукерью, превознося ее до небес,

желая видеть, какое действие чрезмерная похвала произведет над Фалелеем. Итак, Цымбалда ему отвечал: «О Фалелей! я не прекословлю: смиренномудра Гликерия твоя; руки ее трудов, конечно, не презирают; умеет молчать; всякий час в упражнении; в родительском доме добрый порядок, и тем более красится, нежели красотой. В деревне всеми любима, ибо в ней нет никакого пристрастия, ни упрямства, ни легкомыслия, ни своенравия; взором одним дает себя разуметь. Правда твоя, Фалелей, Лукерья есть сокровище и достойна женихов достойнейших. Не величается украшением; мысли ее быстры, но воздержны: не говорит она кроме того, что нужно и должно, а когда отверзает уста к вещанию, то из них лиется непритворная и сладкая приятность. Так Лукерья без власти и даже не красотой, но будет владеть сердцем супруга. Я повторяю, Фалелей, любовь твоя к ней праведна; но должно ждать, да родители твои на то согласятся».

Доколе Цымбалда продолжал речь свою, радость живо изображалась на лице Фалелея, и он неоднократно, вспрыгнув на шею к дядьке своему, его целовал от всего своего сердца, но слыша, что, после всего одобрения, дядька сказал, что на то надлежит иметь согласие г. Простякова и его супруги, то он гораздо пригорюнился, бояся, когда о сем скажут любезной его матушке, что она,

конечно, изволит его высечь лозою, как дитя, и, может быть, очень больно, а Лушку куда-нибудь ушлет или отдаст замуж в дальнее место. От таких мыслей Фалелей повесил голову и шел задумавшись. На пути своем нашли они кузницу, где слышен был стук молотов и искры пламенные возлетали из горна высоко на воздух. Цымбалда, начитавшись много тех книг, которые ему достались после барина, хотя не таков был, как Дон-Кишот, начитавшись рыцарских романов, и не совершалось то в очью его, что находилось только в его воображении, и при всяком случае, где он малейшее находил сходство того, что было пред его глазами, с тем, чего начитался, он читал то сходное место из книги, имея на старости память довольно острую. Итак, увидев кузницу еще издали, он возгласил ⁶ : «Самая страшная тут находилась пещера⁷. Из пещеры исходил дым черный и густой и делал ночь посреди дня⁸. Серчая мгла дышала непрестанно чрез отверстие то, весь воздух вкруг заражало. Окрест не росло ни былинки, ни травочки...»

Фалелей. *(в грусти идет и с досадой вдруг*

⁶ Кн. XVIII, ст. 92.

⁷ *Иб.*, ст. 125.

⁸ Кн. XVIII., ст. 100.

прерывает речь дядьки) Врешь ты, Цымбалда, видишь — около кузницы трава.

Цымбалда. *(рад тому, что Фалелей стал заниматься его рассказами, продолжал)* «Прибыв ко входу пещеры, услышал подземную державу, грозно рычащу. Вся земля тряслась под его стопами».⁹

Фалелей. Дядька! я не слышу, кто рычит, нет тут ни телят, ни коров; я не чувствую, чтоб земля дрожала, но я только дрожу: становится холодно, зайдем в кузницу и погреемся.

Цымбалда. «Дым густой, бывший при входе в пещеру, когда приблизились, исчез, и дух ядовитый престал, вошел один...»

Между тем как Цымбалда сие говорил, Фалелей подошел ко дверям кузницы, когда дядька говорил: «вошел один». Он впрыгнул в кузницу и (половина шуткою, половина, будучи достойное, хоть не совсем, дитя своей матушки, ради мщения за последние слова дядькины) дверь затворил и запер крюком, говоря: «Дядька, ты сказал: „вошел один“, — я один и вошел, а ты там стой и мерзни (*полегоньку*), мерзни, старой черт!»

Цымбалда. *(приложив рот к щелке на дверях, продолжает, и голос его, проходя сквозь щелку звончее, был свистоват и завывал)* «Сидел на

⁹ *Ив.*, ст. 150.

престоле из черного дерева, бледен и суров, сверкающи очи и впадшие; чело браздисто и грозно». ¹⁰

Фалелей оглянулся назад и видит кузнеца, сидевшего на наковальне, между тем как железо калилось в горну. Слышит дядькины слова, и душа в нем дрогнула.

Цымбалда, желая немного проучить своего питомца, зная его трусливой нрав, говорил в щелку вполкрика хриплым голосом:

«Внизу на престоле стояла смерть бледная (*прибавляя голоса до конца речи, как то в музыке крещендо*), чудовище мозгло, мослисто, и глухо, и немо, и слепо, в руках имело преострую косу...» ¹¹

Фалелей уже дрожал, слыша дядькины речи, от дверей не отходил и давно уже покушался отворить дверь, но, затворив ее с размаха, то не легко было, а в ту минуту, как Цымбалда говорил: «в руках имело косу», — кузнец вынул каленый железный прут, разогревшийся в горну, махнул им поспешно и, положи на наковальню (в то самое время, как Фалелей оглянулся), ударил молотком по железу; каленые искры посыпались и полетели, и одна попала Фалелею на лицо. Он, завизжав от

¹⁰ Кн. XVIII, ст. 298.

¹¹ Иб., ст. 310.

боли и ужаса, размахнул двери, разбил дядьке нос до крови, сам упал через порог в бывшую тут грязную лужу почти без чувства. Кузнец, видя барского сына в грязи, дядьку, стоящего в оцепенелости окровавленным, бросил железо в воду и сунулся на помощь к барину. Фалелей, слыша близь ушей клокот и шипенье горячего в воде железа и стремящегося к нему, наклонившись, кузнеца, которого он считал в сию минуту по крайней мере сатаною, а с другой стороны дядьку, наклонившегося с окровавленной рожею, также чтобы поднять его из грязи, кричал кузнецу: «Помилуй, не буду больше, помилуй, не буду!» — вертелся в грязи и барахтался, не даваяся кузнецу или черту в руки. Но, помня свою досаду за прежние речи, протянутую выю дядьки обнял руками крепко и, приблизясь к его лицу, будто приподымается, укусил его столь больно за нос, приговаривая: «Вот тебе, старой черт, за давешнее», что бедный старик упал без памяти, окровавлен еще больше, упал и сшиб с ног наклонившегося кузнеца, и все трое лежали крест-накрест: Фалелей внизу, кузнец на нем, а Цымбалда наверху.

Прекраснейшая группа, которой ниже тени никогда ни Новерр, ни Анджелини не могли произвести в прекрасных своих балетах, и столпообразный Лаокоон, гордясь своею лепотою в чертогах Ватиканских, был в сравнении сея группы

дрянь. Для дополнения сея картины, достойной момической кисти Гогарта, явилась тут из-за угла прекрасная Лукерья с кувшином. Созонт, кузнец, был ее отец, и она ему несла квасу. Вообразите Фалелея, барахтающегося в грязной луже под тяжестью кузнеца и дядьки, — вымаранная рожа, руки и платье, вообразите положение его души, видя чудесное нашествие его любовницы. Лукерья, едва увидела сию неоцененную группу, захохотала и вскричала: «Мала куча!» Фалелей, раздраженный сею колкою насмешкою, повернулся под своею тяжестью паче древнего Енкелада, который мог только заставить Этну, на груди его лежащую, изрыгнуть огонь, дым, камни, пепел и лаву, — Фалелей повернулся сильно, свергнул бремя, в грязи его давившее, и, вскочив, помчался домой, вымаранный в грязи, как черт, без шляпы; Цымбалда, опомнившись, с кровавым лицом и откушенным носом, поспешал, бежал шагом за ним вслед, с обыкновенным своим припевом: «Постой, Фалелеюшка, постой, батюшка!» — а кузнец, вставши, плюнул с негодованием вполсмеха: «Провалитесь вы вставши!»; Лукерья еще усмехнулась, а мы? — Мы скажем: конец.

Апология «Тилемахиды» и шестистопов

П. Согласен в том, что «Тилемахида» может быть поводом к чему-нибудь смешному, но чтобы в ней что-нибудь было хорошее — нет, нельзя.

Б. Да ты ее не читал.

П. Что нужды в том, что я ее не читал от доски до доски; но разверни ее где хочешь, то везде найдешь нелепость.

Б. А я ее читал, правда случайно, и вот что я о ней думаю. Поелику Тредьяковский отвечает только за стихи, то надлежит сказать, во-первых, что, по несчастью его, он писал русским языком прежде, нежели Ломоносов впечатлел россиянам примером своим вкус и разборчивость в выражении и в сочетании слов и речей сам понесся путем непроложенным, где ему вождало остроумие, — словом, прежде, нежели он показал истинное свойство языка российского, нашед оное забыто в книгах церковных; потому Тредьяковскому и невозможно было переучиваться. Тредьяковский разумел очень хорошо, что такое стихосложение, и, поняв нестройность стихов Симеона Полоцкого и Кантемира, писал стихами такими, какими писали греки и римляне, то есть для российского слуха совсем новыми; но, зная лучше язык Вергилиев, нежели свой, он думал, что и преношения в российском языке можно делать такие, как в

«Та разлука была мне вместо Перунна удара».

П. Хорош.

Б. Не только хорош, но и очень хорош, ибо препинание стиха первое после слова *разлука*, другое и скорое затем после *мне*, а потом непрерывно два дактиля, долгая, ударяя или запиная, совсем на *у* в *Перунна*, за *у* повторительное и глухое *нна*, и за ними привскакивающее краткое *у*, и наконец падающее, раздающееся в слухе *да*, с окончанием *ра*, делают сей стих хорошим; поставь его в другое место, а не в «Тилемахиду», то всяк скажет: хорош.

П. Неужели ты сие говоришь не в шутку?

Б. Не шутка, конечно: повтори чтение, читай по стопам слов, как то велит читать Клопшток, то есть следующим образом:

«Та разлука была мне | вместо Перунна
удара».

И если разыщешь сей стих еще больше и раздробишь его, то найдешь, что, сверх числительных звонкости, в нем есть еще сие изящное уподобительное благогласие, коего столь изобильные примеры находятся в Омире, в Виргилии и во всех великих стихотворцах.

истинный шестистоп российской, которой можно употреблять с успехом. Читая «Тилемахиду», всегда ищут в ней дактилий и читают ее всегда дактилием. Клопшток сие запрещает именно; и если его «Мессию» читать так же станешь, то вместо его благогласных стихов выйдут скачущие и жесткие дактилохореи. Но читая по стопам слов, то находишь в них благогласие непрерывное, стих в ухе не звенит, и его гармония есть точно та, какую в стихах искали греки и римляне.

II. Я никогда не воображал себе, чтобы в «Тилемахиде» мог быть стих порядочный. Его смерть и Кервер суть смехотворны:

«Дивище мозгло, мослисто, и глухо, и немо,
и слепо;

Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной
и лаей».

Б. Конечно так; но отчего? Не от дактилия и не от шестистопа, но от нелепых слов: *дивище мозгло*, ибо то и другое в поэму не годится. И Тредьяковский не дактилиями смешон, но для того, что не имел вкуса; он сделал дактилии смешными, он стихотворец, но не пиит, в чем есть великая разница. Если растряхнуть котомки иных наших славящихся Парнасских рыцарей, то не лучше что из них вылетит, как что излетело из Пандориной

коробки, но не зло, не болезни и не недуги, но стихи нелепые дерут слухи и достойны поместиться в «Тилемахиде». Но дабы никого не оскорбить, мы воздержимся от примеров. Знаешь ли верное средство узнать, стихотворен ли стих (если так изъясниться можно)? Сделай из него предложение, не исключая ни единого слова, то есть сделай из него прозу благосклонную. Если в предложении твоём останется поэзия, то стих есть истинный стих, напр.:

«О ты, что в горести напрасно» и пр.

Преложи его как хочешь, перенося, но грамматикально, слова сей строфы, то и в прозе будет поэзия. Преложи многие строфы из оды к Фелице, а особливо, где мурза описывает сам себя, без стихов останется почти тоже поэзия, но преложи... и без предубеждения скажи, что вышло? Но мы «Тилемахиду» забыли, а я вижу, ты ее сложил. Разогни опять, и продолжим. Читай здесь:

«Тотчас и хлынул | поток мясobaгр из него
издыхавша».

П. Какой нелепый стих!

Б. Нелеп совершенно. Но чем же?

П. Да тем, что сказать то же можно лучше:

И се поток багров течет из ран глубоких,
Едва он жив, едва он дышит.

И се поток багровый вдруг хлынул из ран
издыхавша.

Б. Согласен. Твое предложение сделано с разборчивостию и со вкусом. Но Тредьяковского стих более картина, но без вкуса; а если бы он у него был, то бы стих его был бы, может, следующий:

«Я не имел уже и утехи бедныя — выбрать
Кое-нибудь одно, меж рабством и смертию в
горе;

Надобно стало быть рабом и сносить
терпеливо» и пр.

П. Стихи очень слабые!

Б. Не только стихи слабые, но и слабая проза, чего везде довольно. Теперь будь уверен в том, что, читая иначе стихи «Тилемахиды», много найдешь стихов слабых и стихов посредственных, ибо и сама мысль преложить Телемака в стихи есть неудачное нечто. Но теперь постараемся найти стихов, хотя несколько, хороших, где много гармонии; ибо мимоходом заметим, что в «Тилемахиде» есть стихов много нелепых, но благогласных. Вот пример стихов негладких, где благогласия очень

спондеев и долгого ударения на конце третьего отделения, следуют четыре одинаково краткие в *колеблется* и полудлинные спондеи в *страшно*.

Во втором: в первом отделении дактиль и хорей, во втором столь поспешные пять почти равно кратких и в окончательном три длинные, из коих первая долга, но две последних посредством глухого *о* от *ъ*, за ним стоящего, столь же, кажется, тяжелы, как хребет горной.

«Превознесется | слава до самых светил, | до
звезд поднебесных».

Какой стих! я уверен, что и сам Ломоносов его бы похвалил. Не только в нем числительная красота, красота мерная времени, но и самая изразительная гармония, происходящая от повторения букв *е* и *ь* с *д* и *п*, сперва в запинательной стопе слова *превознесется* кратко-долгими, потом ямб с анапестом в окончательном отделении. Я знаю, что, кто бы более имел вкуса, не сказал бы: звезды поднебесные.

«(Коя) приводит в лед всю кровь, текущую в жилах».

Не порицай, пожалуй, слабого *приводит* вместо *превращает* : ибо первое тянется, мерзнет; а другое, с повторительными *р* после гласной, скорей

сходствует с кипеньем воды на огне, нежели с охлаждением крови в жилах.

«И к воздержанию всех стремлений юности
резвой».

Нет, кажется, уже нужды замечать красоту от повторений *е* и *ь*, *и* и *ю*, соединенно со скоростью слов *воздержание*, а паче *стремлений*, в середине стоящего.

(«Да и тех положил в сень смерти своими
стрелами».)

Как томно! Или:

«Праздна уже колесница сама свой бег
направляла».

Какая легкость!

«Слышимо было | везде | одно щебетание птичек,
Иль благовонный дух | от Зефиров | веющих
тихо.

С ветви на ветвь | древес прелетающих | в шуме
прохладном.

Иль журчание | чиста ручья, | упاداющая с
камня».

Четыре хороших стиха; после двух хореев, составляющих первое отделение, и запинание легкого спондея (помните, что я говорю о стопах, а не о стихе) второго отделения, шесть кратких, меж которых только три долгие; одну и первую из них произнести надлежит кратко, на вторую чуть опереться и сделать ударение на третье, при помощи повторительных сначала *о*, а на конце *я*, *и* и *е*, кажется, слышно песни не соловья, не снегиря и не малиновки или пеночки, но чечета, клеста, а может, и дикого чижа и щегленка. Раздробите второй стих и найдете, что его красота происходит от длинного первого отделения, где гласные *а*, *о*, *о*, *ый* льются, так сказать, в слове *благовонный*, преломляемые мягкими только согласными, и препинаются плавно на слове *дух*; потом, прешед тихо дрожание второго отделения, окончивают точно так, что изрражают. В третьем стихе посмотрите, сколь изразительны три первые отделения, а в четвертом два первые отделения, где посредством слогов: *журч. чис. руч.*, которые один за одним следуют, не слышится ли то, что автор описывает? А в последнем отделении в слогах, звучностию похожих, и с ними гласное одинаковое *па*, *да*, *ща*, *ка*, *мня*, изрражают будто падающие воды на камень.

II. Изъяснение твое изрядно, но или я ничего в сих стихах не слышу, или препятствует тому

великое предубеждение.

Б. Вероятно последнее.

«(И) воздымало волны, катя огромны, что горы».

Если б не было нелепого *что*, то стих был бы очень хорош.

«Издали гор и холмов верхи пред взором
мелькали».

Но таких примеров очень много, и, повторяя их, можно наскучить.

П. Еще немного.

Б. Выслушай следующий стих и особенно первую столь изразительную половину стиха:

«Дыбом подняв лев свою косматую гриву».

А все сие происходит от повторенного звука *дыб— ом— под — няв — лев*.

«Зев отворяет сухой и пылко пышущий
жаром;

Ярки лучи его верхи гор всех позлащали.

Гора Ливана, коея верх, сквозь облаки,
звезд достигнуть стремится.

Вечный лед чело ея покрывает, не тая».

Сии два стиха, следуя один за одним и изображая две картины одного и того же предмета, суть хороший пример изразительных гармонии:

«В нем не находишь теперь кроме печальных
останков
От величия, уже грозяща падением
громким».

Вот три стиха, в которых повторение гласной и делает один изящным, а два дурными:

«И мы видели там все страхи близкия
смерти.
Книга, держама им, была собрание имнов,
Яви стези итти премудрости за светом».

Отчего же так первый хорош, а два другие дурны? Кажется, всё чародейство изразительной гармонии состоит в повторении единойзвучной гласной, но с разными согласными. Во втором стихе в начале *има*, *им* и на конце *ние*, *им* несносную делают какофонию, так, как и в третьем *стези итти... сти*.

«Тайна и тиха мною всем овладела раслаба,
Я возлюбил яд лестный, лился что из жилы в
другую».

Какая сладость при дурном выборе слов; или
какая легкость в следующем:

«Зрилась сия колесница лететь по
наверхности водной».

А еще легче действительно, как нечто легкое,
виющееся по ветру:

«И трепетались играньми ветра, вьась,
извиваясь».

Сказанного мною кажется уже довольно для
доказательства, что в «Тилемахиде» находятся
несколько стихов превосходных, несколько
хороших, много посредственных и слабых, а
нелепых столько, что счесть хотя их можно, но
никто не возьмется оное сделать. Итак, скажем:
«Тилемахида» есть творение человека, ученого в
стихотворстве, но не имевшего о вкусе нималого
понятия.